

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Золотуха



Уральские рассказы

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Золотуха

«Public Domain»

Мамин-Сибиряк Д. Н.

Золотуха / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,
— (Уральские рассказы)

«С широкого крыльца панышинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое после обеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Панышинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксины...»

Содержание

I	5
II	8
III	12
IV	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Золотуха

I

С широкого крыльца паньшинской приисковой конторы, на котором смотритель прииска Бучинский, по хохлацкой привычке, имел обыкновение отдыхать каждое после обеда с трубкой в зубах, открывался великолепный вид как на весь Паньшинский прииск, так и на окружавшие его Уральские горы. И прииск и горы были «точно поднесены к конторе», по меткому выражению приисковой стряпки Аксины.

Уральские горы спускаются в сторону Азии крутыми уступами, изрытыми массой глубоких логов, оврагов и падей. На север от уральской железной дороги горы начинают подниматься выше, и по дну логов бойко катятся безымянные горные речушки, которые образуют собой живую подвижную сетку. Лозьва и Тура принимают в себя такие горные речки тысячами; речка Панья, на которой расположился Паньшинский прииск, впадает в Туру, предварительно сделав сотни самых мудреных колен, поворотов и извилин. С крыльца приисковой конторы прииск представлял глубокий лог, сдавленный с обеих сторон довольно высокими лесистыми горками; по самому дну этого лога прихотливыми извивами катится Панья. Вероятно, год назад она совсем была затянута кустами ивняка, ольхой, смородиной и густой, ярко-зеленой осокой, а теперь берега ее совсем обнажены, и только кой-где по ним валяются кучи покрасневшего на солнце хвороста, свежие бревна и маленькие поленницы новых дров. Сейчас за конторой, которая занимает пригорок, берега Паньи, на протяжении двух верст, изрыты на все лады, точно здесь прошел какой-то гигантский крот. Вообще, вся эта масса взрытой без всякого плана и порядка земли походила скорее на слепую работу стихийных сил, чем на результат труда разумно-свободного существа, как определяют человека учебники логики и психологии. По бокам прииска тянутся грядой громадные свалки из верховых пластов, не содержащих золота; желтые валы перемывок, т. е. промытого песку, чередуются с глубокими выработками, где добывается золотоносный песок, рядами ширфов, походящих на только что вырытые могилы, и небольшими мутными прудками, которые Панья образовала там и сям по своему течению. Мутная вода этих прудов, при помощи канав и деревянных желобов, проведена к самым дальним частям прииска, где поднимаются свои перемывки и свалки. Присутствие людей оживляло всю картину и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности. Пестрые кучки старателей были рассыпаны по всему прииску; по ним можно было определить положение вашгердов, на которых совершалась промывка песков. В выработках, куда въезжали и выезжали приисковые двухколесные тележки-таратайки, можно было рассмотреть только одни мужские головы, в валяных шляпах и фуражках, а около вашгердов суетилась голосистая пестрая толпа женщин. В глубине прииска, где дорогу Панье загрозила невысокая каменистая горка, виднелась довольно сложная золотопромывательная машина; издали можно было разобрать только ряды стоек и перекладин, водяное колесо и крутой подъем, по которому подвозились на машину пески. Люди, работавшие на машине, казались с крыльца конторы муравьями, а когда на подъем взбиралась таратайка, то лошадь можно было принять за комнатную муху. Рядом с машиной весело попыхивала паровая машина; из высокой тонкой трубы день и ночь валил густой черный дым, застилавший даль темной пеленой.

По бокам прииска, под прикрытием дремучего ельника, лепились старательские балаганы и землянки; кое-где около них курились веселые огоньки и суетились женщины, а в густой зеленой траве, на которой паслись спутанные лошади, мелькали белые детские головки. С

внешним миром прииск соединялся извилистой узкой дорогой, которая желтой змейкой взбегала мимо приисковой конторы на крутой увал и сейчас же терялась в смешанном лесу из елей, сосен и пихт. На западе, из-за зубчатой стены хвойного леса, придавленной линией, точно валы темно-зеленого моря, поднимались горы все выше и выше; самые дальние из них были окрашены густым серо-фиолетовым цветом. Вся эта картинка прииска была вставлена в темно-зеленую раму дремучего хвойного леса, заполонившего все кругом на сотни верст. Гордо поднимали свои пирамидальные вершины столетние поседевшие ели; воздушными стрелками, как готические башенки, летели прямо в небо молодые бархатные ели, и, широко раскинув свои могучие ветви, светло-зелеными шапками поднимались над всем лесом старые лиственницы. От этого непролазного угрюмого северного леса веяло первобытной стихийной силой, которую не в состоянии сокрушить ни сорокаградусные морозы, ни трехаршинные снега, ни убийственный северо-восточный ветер, который заставляет деревья поворачивать свои ветви к далекому благословенному югу.

– У нас работа, как вода в котле кипит, – самодовольно говорил Бучинский, любуясь после обеда картиной прииска. – Человек триста работают... Да. Усним хлеб даемо... А сколько пользы государству приносим? Хе-хе!.. Золото... Всем золото треба, все его шукуют... пхе! А оно у нас под носом... Пхни рылом землю, вот и золото.

Фома Осипыч, как все хохлы, после обеда впадал в философское настроение и любил побеседовать на тему о государственной пользе. Его круглое прыщеватое лицо с свинными глазками, носом луковицей и длинными казацкими усами подергивалось в эти минуты жирным блеском и по толстым отвислым губам блуждала самодовольная улыбка человека, который не желает ничего лучшего. Кто был Бучинский сам по себе, какими ветрами занесло его на Урал, как он попал на приисковую службу – покрыто мраком неизвестности, а сам он не любил распространяться о своей генеалогии и своем прошлом. На прииске Бучинского не любили, и старатели просто называли его беспалым Фомкой, потому что у него на левой руке не доставало одного пальца.

Жил Бучинский на приисках припеваючи, ел по четыре раза в день, а в хорошую погоду любил бродить по прииску, останавливаясь преимущественно около тех вашгердов, где работали красивые девки. До женского пола Бучинский был необыкновенно падок и не пропускал мимо ни одной смазливой рожицы. По целым часам, бывало, торчит, как индюк, около баб и не уйдет без того, чтобы не щипнуть самую хорошенькую. От баб иногда ему крепко доставалось, но на удары скребками или просто рукой наотмашь Бучинский только жмурился, как закормленный кот, и приговаривал с неоставлявшим его никогда юмором: «А ты, Апроська, побереги руку-то, глупая: пригодится еще».

Приисковая контора только что была поставлена весной и желтела на пригорке своими новыми бревнами и тесовой крышей. Она делилась на две половины. В одной помещалась собственно контора, где жил Бучинский и хранилась касса, а в другой была устроена кухня и людская. Собственно контора одним окном выходила на дорогу, а двумя другими на прииск, так что Бучинский из-за своего письменного стола мог видеть всякого, кто ехал на прииск или с прииска, а также и то, что делалось на прииске. Стены конторы внутри были только что выделаны и еще хранили следы топора, которым с грехом пополам были обтесаны бревна. Пол и потолок были сделаны из расколотых надвое бревен и подровнены как раз настолько, чтобы на полу нога не запиналась о края настланных плах. Желтый мох, которым были законопачены пазы между бревнами, не успел еще завянуть и таранился ключьями, усиками и колючей щетиной; когда по утрам горячее июльское солнце врывалось в окна конторы снопами ослепительных лучей, которые ложились на полу золотыми пятнами и яркими полосами, веселые зайчики долго и прихотливо перебегали со стены на стену, зажигая золотыми искорками капли свежей смолы, вытоплавшиеся из расщелявшихся толстых бревен. Одно окно, как зеленым шатром, было защищено лапистыми ветвями старой ели; солнечные лучи, проходя через живую сетку

из зеленых игл, окрашивались особенным, желто-зеленым цветом, точно их пропустили сквозь тонко прокованный лист золота.

Обстановка конторы отличалась большой простотой и тем отчаянным беспорядком, какой всюду вносит с собой грубая половина человеческого рода. Сам Бучинский прибавил от себя специально хохлацкую грязь и какой-то особенный запах, который никогда не оставлял его. У самых окон, во всю длину наружной стены, на деревянных козлах были настланы доски и прикрыты толстым серым сукном; это и был письменный стол, около которого торчали два колченогих стула и новенькая табуретка со следами красноватой приисковой глины. На столе смешалась масса предметов в замечательном беспорядке. Можно было подумать, что все эти предметы были высыпаны на стол прямо из мешка, да так и остались в том положении, куда толкнула их сила инерции. Из-под слоя желтой приисковой пыли, рассыпанного табаку, пепла и окурков можно было рассмотреть чернильницу без чернил, несколько железных кружек с красными приисковыми печатями, пустую готовальню, сломанный ящик из-под сигар, коллекцию штурцных пуль, дробь в мешочке, дробь в коробочке из-под пастилок Виши и дробь, просто рассыпанную по всему столу вместе с пистонами, оборванными пуговицами, обломками сургуча, заржавевшими перьями и тому подобной дрянью, которая неизвестно для чего и как забирается на письменные столы. Кипы счетов и конторских книг были сложены отдельно, под прессом из золотосодержащего кварца; несколько раскрытых книг лежали там и сям в самых отчаянных позах, как только что раздавленные люди с раскинутыми руками.

В углах конторы, сейчас у дверей, были устроены на деревянных козлах две походные кровати; на одной спал Бучинский, а другую занимал я. Около постели Бучинского стояла приисковая касса, то есть железный сундук, а над постелью, на развешенном по стене тюменском ковре, в красивом беспорядке размещено было разное оружие, начиная с револьвера и кончая бельгийской двустволкой и заржавевшим турецким кинжалом. Около стен стояло несколько зеленых тагильских сундуков, в которых хранилась вся движимость Бучинского и разный домашний скarb.

II

Мне пришлось провести на Панышинском прииске в обществе Бучинского несколько недель, и я с особенным удовольствием вспоминаю про это время. Для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски на Урале, т. е. старатели, или, как их перекрестили по новому уставу, в золотопромышленности, – золотники.

– Старатели... пхе!.. Хочется вам с этими пьяницами дело иметь! – не раз говорил мне Бучинский – он никак не мог понять, что меня могло тянуть к старателям. – Самый проклятый народ... Я говорю вам. В высшем градусе безнравственный народ... Да!.. И живут как свиньи... Им только дай горилки, а тут бери с него все: он вам и золото продаст, и чужую лошадь украдет, и даже собственную жену приведет... Я вам говорю!..

– Мне кажется, что о старателях много лишнего говорят.

– Кажется?! Тэ-тэ-тэ!.. От-то глупая скотына этот Бучинский! Ха-ха... – хриплым смехом залился Бучинский, причем вместо глаз у него образовались две жирные складки кожи. – Я теперь все понимаю... даже до капли все! Пссс... А все никак в свою глупую башку взять не мог. Да вы бы лучше прямо до меня обратились, и я устроил бы все, как ваше сердце желает... Хе-хе!.. Вот у Зайца смачная дивчина есть, у Сивы... Знаете «губернатора»? Тэ-тэ-тэ... Да вы ж и без меня успели зацепить лихую дивчину! По глазам вижу... да. А я вам говорю по совести: на всем прииске нет лучше губернаторовой Наськи! Да вы ж наверно раньше меня все это знаете?..

Разуверять Бучинского в чистоте моих намерений было напрасным трудом: он принадлежал к числу тех заматерелых скептиков, которые судят о всех по самим себе.

Прииск вблизи был совсем не то, чем он казался издали. Свалки, перемывки, выработки, ширфы, канавы, кучи песку и галек – все это напоминало издали работу сумасшедшего, который не стеснялся осуществлением своих диких фантазий и то, что вырывал в одном месте, сваливал в другом. Нужно было пройти прииск из конца в конец, и только тогда «открывался в этом беспорядке порядок» и вся масса затраченного человеческого труда освещалась разумной мыслью. Точно так же и относительно старателей. Главное впечатление производила необыкновенная пестрота собравшегося здесь народа. И кого-кого только не было на прииске: мастеровые с горных заводов: староверы из глухих лесных деревень по р. Чусовой; случайные гости на прииске – вороняки, т. е. переселенцы из Воронежской губернии, которые попали сюда, чтобы заработать себе необходимые деньги на далекий путь в Томскую губернию; несколько десятков башкир, два вогула и та специально приисковая рвань, какую вы встретите на каждом прииске, на всем пространстве от Урала до Великого океана. Этот гулящий, бездомный, разношерстный люд есть порождение бестолковой приисковой жизни и составляет настоящую язву, корень всяческих зол. Стоит раз взглянуть на эти типичные лица и на живописные их лохмотья, чтобы угадать настоящих приисковых волков, которые голодными стаями бродят всю жизнь по приискам.

На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда на прииск со всех концов России одним могучим двигателем – нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих; но, вглядываясь внимательнее в кипучую жизнь прииска, мало-помалу выяснешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и, наконец, рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь. Эта руководящая нить для уразумения приисковой жизни заключается в понятии русской артели, которая нашла себе здесь глубокое применение. Без артели русский человек – погибший человек; поэтому артель живет на всех вольных промыслах, в тюрьмах и в монастырях; даже разудалая вольница, ничего не хотевшая знать, кроме своей вольной волюшки, – и та

складывалась в разбойничью артель. Если с испокон веку русский человек работал артелью и грабил артелью, отсиживался по тюрьмам и острогам артелью, то такое, может быть, слишком широкое применение артельных начал вносило в них, на каждый специальный случай, специальные применения в форме и содержании. Старательская артель, в которую, если позволено так выразиться, выкристаллизовалась приисковая жизнь, решила ту же задачу, какую решают все русские артели, т. е. как при наличии *minimum'a* благоприятных условий, не только ухитриться просуществовать, но еще выполнить *maximum* работы.

Было светлое июльское утро, когда я в первый раз спускался от конторы на прииск. Солнце едва показалось из-за линии леса и в низких местах стояла еще ночная сырость, а кой-где сохранившиеся клочки зеленой травы были покрыты каплями блесневшей росы. Со стороны леса доносился нестройный птичий концерт; залетные гости короткого северного лета точно хотели удешевить его радость своими веселыми песнями. В лесу еще стояла ночная прохлада; около балаганов огни едва дымились; по дороге мне попало несколько таратаек, нагруженных песком. Лошадью правили босоногие мальчишки-подростки, а на одной таратайке кучером сидела курносая рябая девка в красном платье и в желтом, высоко подтыканном сарафане. Я миновал целый ряд глубоких ширфов, при помощи которых производится разведка золота, и направился в ту сторону, где происходила добыча золотоносного песка, т. е. к выработке. Из выработки в одном месте выставлялась голова гнедой лошади, а в другом – широкая лысина с остатками мягких русых кудрей. Выработка имела форму глубокой четырехугольной ямы с выемкой на одной стороне; по этой выемке осторожно поднялась гнедая мохноногая лошадка с нагруженной тележкой.

– Кузька! мотри не балакай с бабами-то подолгу, – крикнул вслед выезжавшей тележке среднего роста широкоплечий старик, лысину которого я заметил еще издали.

Кузька, подросток лет четырнадцати, с бойким загорелым лицом, только взмахнул концом веревочных вожжей и трусцой направился к ближайшему прудку, около которого виднелись два вашгерда.

– Бог на помощь! – поздоровался я со стариком, который рукавом старой пестрядевой рубахи вытирал свое красивое, широкое лицо, покрытое каплями крупного пота.

– Мир дорогой! – весело отозвался старик. – Иди в выработку-то, лопатка и на твою долю найдется... Вон Никита умаялся с утра-то с кайлом играть.

Молодой мужик, длинный, нескладный, с острыми плечами и неприятным худым рябым лицом, только тряхнул спутанными волосами и опять принялся долбить кайлом осыпавшийся слой мокрого песка. Мужики были одинаково одеты в синие пестрядевые рубахи и порты, работы одной хозяйки; на ногах были лапти. Дно выработки было покрыто слоем липкой грязи, в одном углу стояла целая лужа мутной воды; на краю лежал свернутый чекмень и узелок с краюхой черного хлеба. Старик закурил коротенькую трубочку, пока я осматривал выработку, и принялся неспешно выбрасывать железной лопаткой скопившиеся турфа, т. е. не содержащую золото землю, наверх, прямо на деревянные полаты, настланные из досок у самого края выработки. Кузьма успел свезти пески на вашгерд и теперь вернулся, чтобы навалить свою таратайку турфами и вывезти их к ближайшей свалке.

– Что, бабы благодарят за гостинец? – спрашивал старик.

– Доводить пора, тятка...

– Без них знаю, что пора. Никита, ты покедава поковыряй здесь, а как я доведу золото, паужинать будем. Вот барину охота поглядеть, как мужики золото добывают. Ну, барин, пойдем к грохоту, старый Заяц все тебе покажет, как на ладонке.

– А тебя как звать? – спрашивал я.

– Меня-то... Да Зайцем добрые люди зовут; это вот мои зайчата, а у грохота сама Зайчиха. Теперь понял? А я тебе покажу все, как есть...

Только когда Заяц вылез из своей выработки, я хорошенько рассмотрел его атлетически сложенную фигуру. Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу. Заметив мой пристальный взгляд, старик с добродушной улыбкой проговорил:

– Что на меня глядишь, барин?

– Да так смотрю; здоровый ты из себя очень.

– Здоровый... Какое уж мое здоровье, барин! Был когда-то Заяц, а теперь одна шкурка осталась... Да. Вот где моя погибель сидит! – проговорил старик, указывая на свои ноги: – тут Заяц и конец. Ну, куда он без ног-то, барин?

– А что, разве у тебя болят ноги?

– Я тебе вот что скажу, барин: как теперь станет весна али осень, вода будет ледяная – шабаш! Как поробил твой Заяц в выработке, пришел в балаган да лег, а встать и не вмоготу. Другой раз недели с две Заяц без работы лежит, потому ноги, как деревянные.

– Простудил где-нибудь?

– А слышал про завод Тагил?

– Как не слышать.

– Ну, так в этом самом Тагиле есть Медный рудник, вот Заяц там и ножки свои оставил... Это еще когда мы за барином были, так Заяц в огненной работе робил, у обжимочного молота. А в те поры был управителем немец, вот Заяц согрубил немцу, а его, Зайца, за задние ноги да в гору, в рудник, значит. Думал, что оттедова и живой не вылезу... По пояс в ледяной воде робили. Ключи там из горы бегут, студёные ключи.

От выработки до вашгерда было сажень двести с небольшим. У низенькой плотины стоял деревянный ящик длиной аршина два; один бок этого ящика был вынут, а дно сделано покатым, в несколько уступов. Это была нижняя часть вашгерда, или площадка; сверху она была прикрыта продырявленным железным листом в деревянной раме – это грохот. Площадка и грохот составляли весь нехитрый прибор, на котором производилась промывка золотоносных песков, на ученом языке горных инженеров этот прибор называется вашгердом.

– Тоже без снасти и клопа не убьешь, обязательно, – объяснял мне старый Заяц. – Не больно хитро устроено, а в шапке золота не намоешь.

У вашгерда работали три женщины. Старшая, Зайчиха, высокая старуха в темном платке, набрасывала на грохот пески, которые Кузька сваливал около вашгерда. Две молодых бабы размешивали эти пески по грохоту маленькими железными лопаточками, скребками. По деревянному желобу из прудка была проведена к грохоту вода и падала на песок ровной струей. Когда песок смешивался с водой, частицы глины и мелкого песку относились струей, гальки оставались на грохоте, а золото вместе с черным песочком, шлихами, падало сквозь отверстие грохота прямо на площадку, где и задерживалось маленькими деревянными валиками. Ход всей операции был крайне незамысловат, и достаточно было посмотреть на него в течение пяти минут, чтобы усвоить вполне.

– У меня и семья вся налажена для прииску, – хвалился Заяц, указывая на баб. – Вот молодайка с Парашкой как поворачивают, того гляди грохот изломают.

– Ну, будет тебе зубы-то точить, – заворчала Зайчиха. – Пристали без того...

– Я правду говорю, – оправдывался старик. – Ну, девоньки, еще маленько навалитесь – и доводить.

Молодая высокая девка с румяным скуластым лицом, которую Заяц называл Парашкой, по всем приметам принадлежала к семье Зайцев. То же завидное здоровье, веселый взгляд больших карих глаз, приветливая улыбка на красных губах – все говорило, что Парашка была дочь старого Зайца и его баловень. В своем ситцевом розовом сарафане и в такой же рубашке она выглядела настоящей приисковой щеголихой; подвязанный под самые мышки передник

плохо скрывал ее могучие юные формы. Неправильное лицо было красиво молодой здоровой красотой, выращенной прямо под открытым небом, как растут безымянные полевые цветочки, которыми зеленая трава обрызгнута точно драгоценными камнями.

– Это невеста Фомки беспалого, – говорил Заяц, указывая на дочь. – Вот в Филиппов пост свадьбу будем играть. Фомка-то давно на нее губы распустил...

Молодайка, жена Никиты, не принимала участия в общем разговоре, шутках и смехе; как только последние лопатки песку были промыты, она сейчас же бегом убежала в сторону леса, где стоял балаган Заяца. Бледное лицо молодой с большими голубыми глазами мне показалось очень печальным; губы были сложены сосредоточенно и задумчиво. Видно, не весело доставалась этой женщине приисковая жизнь.

– Ишь, как Лукерья побегла! – удивлялся добродушнейшим образом вслед своей снохе старый Заяц. – Там у нас в балагане еще два зайчонка есть, так вот matka и бегают к ним с работы. Старатели будут, как подрастут.

– А велики?

– Одному парнишку, старшенькому, около зимнего Николы два года будет, – отвечала Заячиха. – А меньшенький еще matку сосет, всего по третьему месяцу... Здесь на прииске и родился.

– С кем же ребенок остается в балагане, пока мать работает здесь?

– С кем ему оставаться, барин... Лежит себе в зыбке, и все тут.

– Да ведь его комары заедят?

– Бывает и такой грех, – соглашался Заяц, вынимая из-под вашгерда щетку и небольшую железную лопаточку: – И комару надо летом чем-нибудь питаться. Ну, гляди, барин, сколько у Заяца золота напело!.. Сейчас доводить стану.

Старик уменьшил струю, падавшую на грохот, и присел на корточки к площадке. По дну площадки темными полосами расположились шлихи, а в них светлыми искорками желтели крупинки золота. Старик, осторожно засучив рукава, повел щеткой вверх по дну площадки и взмучил воду; струя подхватила часть черного песочка и унесла его с площадки. С каждым движением щетки шлихов оставалось все меньше и меньше, а через десять минут работы в воде блестело одно золото. При помощи лопаточки Заяц осторожно собрал его все и проговорил:

– Будет не будет ползолотника?

– Мало?

– Из-за хлеба на воду заробим. Потому считай: за золотник нам в конторе дают рубль восемь гривен, а за ползолотника приходится девять гривен... Так? Ну, а мы робим сам-шесть, прикинь, сколько на брата придется в полдни.

– По пятиалтынному.

– А мы эту самую битву примаем с самого солновсхода, значит с двух часов по-вашему... Клади еще двух коней. Пробилось наше золото, видно, чтобы ему пусто было семь раз.

– А раньше лучше шло золото?

– День на день не приходился... В другой раз и два золотника падало за день на грохот, а то и четь золотника.

Старик высыпал золото в сухую тряпочку, высушил его в ней, а потом высыпал в круглую железную кружку с приисковой печатью.

– Бабы, зовите паужинать Никиту. Барин, хлеба-соли кушать с нами.

III

Мне часто доводилось бродить по прииску, и я быстро освоился с его пестрым населением. Все старательские артели были устроены, как одна, и носили смешанный семейный характер, сближавший их с кустарным промыслом. Малосильные семьи соединялись по две и по три, а если для артели не доставало одного человека – его прихватывали «на стороне», из тех лишних людей, каких набирается на каждом прииске очень много. Было несколько и таких артелей, члены которых не были связаны никакими родственными узами, а единственно соединились для одной работы. Но последний, по-видимому, самый чистый тип артели представлял на прииске исключение, а главным правилом являлось все-таки артель-семья, как, например, Зайцы.

Главную массу приисковых рабочих составляли горнозаводские мастеровые и жители лесных деревень гористой части Верхотурского уезда, где почва камениста и неродима; для них было во всех отношениях прямым расчетом работать на приисках семьями. Труд всех членов семьи утилизировался с замечательной последовательностью, и не пропадала даром ни малейшая его крупица. Приисковая тяга не миновала ни чьей головы, а слабейшим членам семьи, как это случается всегда, доставалось всех труднее: они выносили на своих плечах главный гнет.

– Прежде, как за барином жили, – рассуждал старый Заяц, – бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели... Потому известно, каторжная наша приисковая жизнь! Ну, а тут, как объявили волю да зачали по заводам рабочих сбавлять – где робило сорок человек теперь ставят тридцать, а то двадцать – вот мы тут и ухватились за прииски обеими руками... Все-таки с голоду не помрешь. Прежде один мужик маялся на прииске да примал битву, а теперь всей семьей страдают... И выходит, что наша-то мужицкая воля поровнялась, прямо сказать, с волчьей! Много через это самое золото, барин, наших мужицких слез льется. Вон, погляди, бабы в брюхе еще тащат робят на прииски, да так и пойдет с самого первого дня, вроде как колесо: в зыбке старатель комаров кормит-кормит, потом чуть подрос – садись на тележку, вези пески, а потом становись к грохоту или полезай в выработку. Еще мужику туды-сюды – оно тяжело, чего говорить, а все мужик, мужик и есть – а вот бабам, тем, пожалуй, и невмоготу в другой раз эти прииски...

Мастеровые – народ обтертый, разговорчивый, одним словом, заводская косточка. Присутствие постороннего человека не только не стесняло заводских артелей, а, напротив, доставляло им большое удовольствие... Это и понятно, потому что к барину, в лице своих служащих и приказчиков, мастеровые привыкли с малых лет. Исключение представляли раскольники, которые на прииске занимали совсем отдельный угол и выглядели особнячком. Познакомиться с жизнью раскольничьих артелей являлось делом очень трудным. Мужики отмалчивались, бабы косились и отплевывались. На самой работе около раскольничьих вашгердов лежала печать какого-то тяжелого отчуждения и подавленной, скрытой печали; не было слышно песен, не сыпались шутки и прибаутки, без которых не работает русскому человеку. Раскольники из лесных деревень, с реки Чусовой и из Чердынского уезда особенно бросались в глаза и своим костюмом, и полной неприступностью. Мне очень хотелось познакомиться поближе с жизнью этих именно артелей, и счастливый случай свел меня с одной из них.

– Ты чего это к кержакам к нашим повадился? – фамильярно спросила меня однажды наша приисковая стряпка Аксинья, разбитная черноглазая бабенка, вечно щеголявшая в кумачных сарафанах и козловых ботинках.

– Да так... Посмотреть, как работают.

Аксинья молча посмотрела на меня и, показав два ряда, как слоновою костью, зубов, проговорила:

– А они тебя боятся... Думают, что ты не на счет ли золота досматриваешь. Право... Чистые дураки! Я им сколько говорю: барин простой, хороший... Ей-богу, вот сейчас с места не сойти, так и сказала. Ну, а брат-то мой... Видал, чай?

– Это с рыжей бородой?..

Аксинья взглянула на меня исподлобья и, улыбнувшись, кокетливо проговорила:

– Нет, это так... кум. Черт его знает, зачем шатается...

Кум, плотный старик с рыжей бородой, являлся к нам в контору периодически через каждые два дня; он обыкновенно усаживался на пороге кухни и терпеливо дожидался, пока щеголиха-кума освободится от своей суеты. Я замечал, что таинственное появление этого рыжего кума всегда совпадало с самым скверным расположением духа Бучинского. Этот почтенный человек раза два совсем утратил свое обычное душевное равновесие и даже вступил с Аксиньей в жестокую перепалку. Нужно сознаться, что победа осталась не на стороне Фомы Осипыча. Аксинья принялась так неистово голосить и так трещала языком, точно свежий блин на каленой сковородке, что Бучинский счел за самое лучшее отступить, хотя долго ругался на террасе и в конторе, посылая кума ко всем чертям и желая ему «четырнадцать раз сдохнуть». Очевидно, Аксинья крепко держала в своих руках женолюбивое сердце Бучинского и вполне рассчитывала на свои силы; высокая грудь, румянец во всю щеку, белая, как молоко, шея и неистощимый запас злого веселья заставляли Бучинского сладко жмурить глаза, и он приговаривал в веселую минуту: «От-то пышная бабенка, возьми ее черт!» Кум не жмурил глаза и не считал нужным обнаруживать своих ощущений, но, кажется, на его долю выпала львиная часть в сердце коварной красавицы.

– Ужо вот придет как-нибудь брат, так я скажу ему, – обещала Аксинья, когда я просил ее познакомить меня с кержаками, т. е. с раскольниками.

Брат Аксиньи, который на прииске был известен под уменьшительным именем Гараськи, совсем не походил на свою красивую сестру. Его хилая и тщедушная фигура с вялыми движениями и каким-то серым лицом, рядом с сестрой, казалась просто жалкой; только в иззелена-серых глазах загорался иногда насмешливый, злой огонек да широкие губы складывались в неопределенную, вызывающую улыбку. В моих глазах Гараська был просто бросовый парень, которому нечего и думать тянуться за настоящим мужиком.

– Это Гараська-то бросовый?! – удивился Бучинский, когда у нас зашла речь о нем. – Да я вам скажу, дайте мне десять старателей, за них одного Гараську не отдам. Да-с.

– Да ведь он же не может работать, как другие старатели?

– Работать... что такое работать... пхэ! Лошадь работает, машина работает, вода работает... так? А Гараська – золотой человек. У него голова на плечах, а не капустаный вилок, как у других. Знаете, что я вам скажу, – задумчиво прибавил Бучинский: – я не желал бы одной ночи провести вместе с этим Гараськой где-нибудь в лесу...

– Почему так?

Бучинский насосал свою трубку, исчез в облаках дыма и засмеялся:

– Вот вы живете неделю на прииске и еще год проживете и все-таки ничего не узнаете, – заговорил он. – На приисках всякий народ есть; разбойник на разбойнике... Да. Вы посмотрите только на ихние рожи: нож в руки и сейчас на большую дорогу. Ей-богу... А Гараська... Одним словом, я пятнадцать лет служу на приисках, а такого разбойника еще не видал. Он вас среди белого дня зарежет за двугривенный, да еще и зарежет не так, как другие: и концов не найти.

Бучинский любил прибавить для красного словца, и в его словах можно было верить любой половине, но эта характеристика Гараськи произвела на меня впечатление против всякого желания. При каждой встрече с Гараськой слова Бучинского вставали живыми, и мне начинало казаться, что действительно в этом изможденном теле жило что-то особенное, чему не приберешь названия, но что заставляло себя чувствовать. Когда Гараська улыбался, я испытывал неприятное чувство.

– А вам что смотреть у нас? – как-то равнодушно спрашивал Гараська, когда мы от контроля шли к его вашгерду. – Робим, как все другие...

Объяснить прямую цель своих посещений я не желал, а только постарался уверить загадочного парня в полной чистоте своих намерений.

Из выработки подозрительно глянуло на нас широкое и суровое лицо рыжего кума, а около вашгерда молча работали две женщины. Они даже не взглянули в нашу сторону. Одна, помоложе, со следами недавней красоты на помертвелом бледном лице, глухо кашляла; это была, как я узнал после, любовница Гараськи, попавшая на прииски откуда-то из глубины Чердынского уезда. Другая женщина, некрасивая и рябая, с тупым равнодушным лицом, служила живым олицетворением одной мускульной силы, без всяких признаков той сложной внутренней жизни, которая отпечатывается на человеческом лице.

– Ну, теперь видел? – коротко проговорил Гараська, когда мы осмотрели выработку и вашгерд; кум молчал, как затравленный волк, бабы смотрели в сторону.

– Отчего вас работает всего четверо? – спросил я. – Ведь неудобно...

– Кому как, а нам и так хорошо.

Я заходил несколько раз к Гараське, и эти посещения не привели ни к чему, за исключением того, разве, что кум, наконец, расступился и заговорил. Поводом для нашего сближения послужила охота. Кум снизошел даже до того, что обещал когда-нибудь в праздник сводить меня под какую-то Мохнатенькую гору, где дичи водилось видимо-невидимо. Однажды, когда я сидел в выработке кума, до меня донеслись странные звуки: в первую минуту я подумал, что кто-то причитает по покойнику, но потом уже расслышал, что это была песня.

– Ишь, развылась! – строго заметил кум, не страдавший излишней словоохотливостью и болтливостью.

– Кто это поет?

– Да Гараськина Марфутка каку-то плачу все воет... Слышь, в ихней стороне на свадьбе такие песни играют. Марфутка-то, чердынская выходит, так к ненастью и тоскует...

– А другая девка – заводская?

– Это Ховря-то? А черт ее знает, откуда она... Какая-то бесчувственная, Христос с ней!

Я долго вслушивался в «плачу» Марфутки. Голос у нее был хороший, хотя и надсаженный. Но в словах и в самом мотиве «плачи» было столько безысходной тоски, глухой жалобы и нежной печали!..

Мне ночесь, молодешеньке,
Не спалось да много виделось:
.....
С по лугам, лугам зеленым
Разлилася вода вешняя,
По крутым красным бережкам,
По желтым песочкам.
Отнесло, отлелеяло
Милу дочь да от матери;
Шла по бережку родна матушка,
С-покруту родимая...
«Воротись, мое дитяtko!
Воротись, мое родимое!»

IV

Кум угадал; действительно, Марфутка не даром разливалась в своем плаче – вечером же небо обложилось со всех сторон серыми низкими тучами, точно войлоком, и «заморосил» мелкий дождь «сеночной». Утром картина прииска изменилась до того, что ее трудно было даже узнать сразу. А через три дня все кругом покрылось мутноватой водою и липкой приисковой грязью; песни смолкли, самые веселые лица вытянулись, и все смотрели друг на друга как-то неприязненно, точно это низкое серое небо придавило всех. Всякому было до себя, до своего измокшего, зябнувшего тела. Под этим ненастьем ярко выяснилась самая тяжелая сторона приисковой работы, когда по целым дням приходилось стоять под дождем, чуть не по колено в воде, и самый труд делался вдвое тяжелее. Рабочие походили на мокрых птиц, которые с тупым равнодушием смотрят на свои мокрые опустившиеся крылья. Женщинам и здесь доставалось тяжелее, чем мужчинам, потому что сарафаны облепляли мокрое тело грязными тряпками, на подолах грязь образовывала широкую кайму, голые ноги и башмаки были покрыты сплошным слоем вязкой красной глины.

Сидеть в конторе в такую погоду, с глазу на глаз с Бучинским, было просто невыносимо. Натянув охотничьи сапоги, я побрел через весь прииск к машине, где рассчитывал посмотреть на работу под прикрытием какого-нибудь навеса или приисковых полатей. Около вашгердов шла молчаливая работа, точно все на кого-то сердились. В выработке Заяц я не заметил старика. Никита работал с каким-то молодым бойким мужиком в заплатанной кумачной рубаше и в рваном татарском азяме; сплюснутая, как блин, кожаная фуражка была ухарски сбита на затылок. Загорелое бойкое лицо было не заводского типа.

– А где старый Заяц? – спросил я, подходя к выработке.

– В балагане лежит, – отвечал Никита.

– Обезножил старый Заяц, – прибавил мужик, не спуская с меня своих больших черных глаз. – А я вот на его место попал...

У вашгерда, где работала Зайчиха со снохою и дочерью, сидел низенький тщедушный старичок с бородкой клинышком. Он равнодушно глянул на меня своими слезившимися глазами, медленно отвернул полу длинного зипуна и достал из-за голенища берестяную табакерку: пока я разговаривал с Зайчихой, он с ожесточением набил табаком свой распухший нос и проговорил, очевидно, доканчивая давешний разговор.

– Нет, Матвеевна, не тово... не ладно...

– Сделай ты ладнее, сват Сила.

– Нет, не ладно, Матвеевна...

– Ну, наладил одно: не ладно, не ладно. А кого возьмешь? Работа не ждет, а Заяц третий день в балагане валяется. К ненастью, говорит, спина страсть тосковала, а потом и ноги отнялись. Никита и привел Естю...

– Да ведь Естя-то откуда ваш?

– А кто его знает... Спроси сам, коли надо...

– Видел я его даве: орелко... Нет, Матвеевна, не ладно. Ты куда, барин? – спросил меня старик, когда я пошел от вашгерда. – На машину? Ну, нам с тобой по дороге. Прощай, Матвеевна. А ты, Лукерья, что не заходишь к нам? Настя и то собиралась к тебе забежать, да ногу повихнула, надо полагать.

Мы пошли. Старик как-то переваливал на ходу и постоянно передвигал на голове свою высокую войлочную шляпу с растрескавшимися полями; он несколько раз вслух проговорил: «Нет, Матвеевна, не ладно... я тебе говорю: не ладно!»

– Что не ладно-то, дедушка? – спросил я.

– Как что?.. Орелка-то видел? Ну, и не ладно выходит. Теперь Заяц в балагане лежит, а Естя будет работать. Так? А Лукерья, выходит, мне дочь... да и Паранька-то девчонка молодая. Чужой человек в доме хуже хвори... Теперь понял? Где углядишь за ними... Нет, Матвеевна, не ладно! Глаз у этого у Ести круглый, как у уросливой лошади.

– «Губернатору» наше почтение!.. – кричал какой-то мужик с черной бородой, когда мы проходили со стариком мимо одной выработки.

– Будь здоров, Евстрат! – добродушно отозвался старик, приподнимая свою шляпу. – Эх, вода одолела прииск, барин! Теперь ненастье, надо полагать, зарядило ден на пять... верно.

– Тебя зачем «губернатором» зовут, дедушка?

– Губернатором-то? А вот заходи как-нибудь ко мне в балаган, так я тебе расскажу все по порядку. Только спроси, где, мол, «губернатор» старается: всякий мальчонко доведет. Ну, прощай, мне сейчас направо идти.

Старик приподнял свою разношенную шляпу и побрел по маленькой дорожке, которая отделилась вправо: шлепая по лужам, губернатор несколько раз передвинул шляпу на голове и проговорил не выходявшую из его головы фразу: «Нет, Матвеевна, не ладно!..»

Золотопромывательная машина вблизи представляла из себя подъезд на высоких сваях, главный корпус, где шумело водяное колесо, и маленький шлюз, по которому скатывалась мутная вода. Если около старательских вашгердов земля была изрыта везде, как попало, зато здесь работы велись в строгом порядке, по всем правилам искусства. Прежде всего снят был в несколько правильных уступов верхний пласт земли, турфы, и затем обнаженная золотая россыпь вырабатывалась шаг за шагом, чтобы не оставить в земле ни одной крупницы драгоценного металла. Накоплявшаяся в низких местах вода откачивалась паровой машиной. Для старательского вольного промысла здесь не было места, а работа велась наемными поденщиками. Это и была та приисковая голытьба и рвань, которая не в силах была соединиться в артели, а предпочитала поденщину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.